



Дорогие друзья! В 2011 году исполняется 175 лет со времени написания повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Эта повесть стала любимой всеми следующими поколениями книголюбителей. Булгаков в «Белой гвардии» с душевным волнением пишет о «лучших на свете шкапах с книгами, пахнущих таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовою, Капитанской дочкой...».

Владимир Николаевич Катасонов, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, одну из глав своей книги «Христианство. Наука. Культура» посвятил размышлениям о религиозно-нравственном смысле повести. Сегодня мы начинаем публикацию этой замечательной во многих отношениях главы. Интересно и поучительно предисловие автора к тексту. «Пушкин всю жизнь мучительно искал Истины. Как жить в этом мире, где ложь и насилие правят бал? Как справиться со страстями, гнездящимися в твоём же собственном сердце, как спастись от неизбежной, беспощадной судьбы, творимой этими страстями?.. За что держаться?.. В «Капитанской дочке», законченной в 1836 предсмертном году, ответ уже найден: держаться надо за Истину, за Христову истину. А это значит: за любовь, за милосердие», — пишет автор.

В.Н. КАТАСОНОВ,

доктор философских наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва

Хождение по водам

Религиозно-нравственный смысл повести А.С. Пушкина
«Капитанская дочка»

От автора:

Все более грубеет, все более дичает наш мир в преддверии третьего тысячелетия от Рождества Христова... Вопреки всем надеждам гуманистов, сила и насилие становятся господствующими факторами нашей культуры. Все ищут силы: силы денег, оружия, мышц, воли... Слабеет вера в слово, деградируют словесные искусства: поэзия, литература. Остается лишь то, что непосредственно связано с социальным действием, с политикой: документальный репортаж, газета.

Все ищут силы... Однако, замечает, что вместе с идолатрией силы убывает и вера в Истину... А ведь Истина тоже сила. И более того: Истина — самая сильная сила. Ведь именно силой истины, а не силой материальной победил мир ХристоС.

Именно это было во все времена соблазном для поклоняющихся силе: «Сойди с креста — и уверуем!». И именно этой Христовой силой побеждали мир христиа-

не... Пушкин всю жизнь мучительно искал Истину. Как жить в этом мире, где ложь и насилие правят бал? Как справиться со страстями, гнездящимися в твоём же собственном сердце, как спастись от неизбежной, беспощадной судьбы, творимой этими страстями?.. За что держаться?.. В «Капитанской дочке», законченной в 1836 предсмертном году, ответ уже найден: держаться надо за Истину, за Христову истину. А это значит: за любовь, за милосердие.

**И долго буду тем любезен я
народу,
Что чувства добрые я лирой
пробуждал...**

Как?.. Добрые чувства? Милосердие и любовь? Такие хрупкие и delicate чувства в столь злом и ожесточенном мире? Разве это возможно? — Да, именно так, как и учил ХристоС. И как показывал это Пушкин в своих лучших произведениях.

Пушкин... Его значение со временем все возрастает. Есть в се-

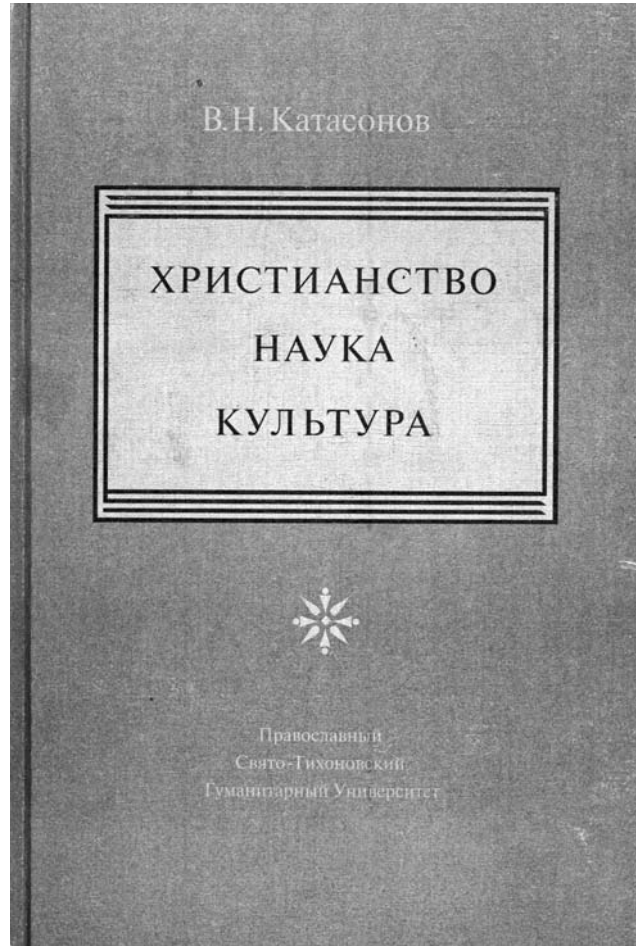
годняшнем недоверии к психологическому роману XIX века, к психологизму вообще, и своя правда. Люди сыты прекраснотупыми утопиями и самообольщениями. Хочется истины и истинной реальности. Во времена, когда уже забрезжили в туманной перспективе контуры конечных исторических свершений, одной психологии уже мало... Поэтому отступает все чисто психологическое, самодостаточно гуманистическое на второй план. И остается Пушкин. И, наверное, Достоевский, психологизм которого был слишком онтологичен, чтобы вместиться целиком в XIX век... И как православная икона, сознательно изгоняющая лживый психологизм, показывает нам не преходящую прелесть лица, а пребывающий в вечности лик, так и проза Пушкина, сдержанная, трезвая порою до ироничности, но искренняя и целомудренная, стремится во временном разглядеть вечное, зовет к самоуглублению и размышлению. Поразмышляем вместе...



§1. МЕТОДОЛОГИЯ

«Капитанская дочка» А.С. Пушкина закончена 19 октября 1836 года, за три месяца до трагической гибели поэта. Последнее большое произведение, писавшееся три года... Естественно отнестись к нему внимательнее, пристальнее всмотреться в его героев, постараться понять его «сверхзадачу» — смысл. Однако в советском литературоведении незавидна судьба этой последней повести Пушкина. Со школьной скамьи набившие оскомину благоглупости о «Капитанской дочке» как произведении, описывающем крестьянскую войну... плюс «романтическое происшествие...». Из книги, посвященной обзору двадцати пяти Пушкинских конференций (1949—1978), на каждой из которых представлено было в среднем не менее полусотни докладов, видим: последней — хочется сказать, предсмертной — повести Пушкина посвящено было только два: «О реальном историческом прототипе героя “Капитанской дочки” и “Капитанская дочка” А. С. Пушкина в школах Оренбуржья...». Наукообразное и обмельчавшее литературоведение спешит выяснить детали — прототипы и т.д., — как бы и не замечая главного вопроса: а стоит ли огород городить — так ли уж важна эта небольшая повесть для русской литературы и для самого Пушкина? О чем, собственно, она? Если о крестьянской войне, то зачем нужно было писать еще и «Историю Пугачева»? В чем собственный смысл «Капитанской дочки»? Вот на этот вопрос мы и попытаемся ответить в статье.

Хорошо читать «Капитанскую дочку»!.. С первых строк — особая атмосфера русской патриархальной семьи XVIII века. С мягким юмором, особой русской насмешливостью — гарантом трезвости и объективности — ведет повествование пушкинский герой. «В то время воспитывались мы не по-настоящему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. “Слава Богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!” Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour ktre outchitel, не очень понимая значение этого слова». В нескольких строках, написанных каким-то особым, ярким и упругим языком — проза



поэта! — сразу сочная картина «русских типов». Тут все: и провинциальность, спешащая не отстать от столичной — европейской! — культуры, и патриархальная преданность слуг, не за страх, а за совесть — по заповедям евангельским — служащих господам своим, и бесконечная, неискоренная русская бесхозяйственность, расточительность, беспечность... Да, несомненно, мы дома, мы на родине, это Россия... Вместе с каким-нибудь Змеем Горынычем из русской сказки так и хочется воскликнуть: «Русским духом пахнет!». Однако если останемся мы только на уровне наших ощущений — тепла от своего, родного и уютной прохладности чужеродного, — если останемся только на уровне чутья — национального ли, классового ли, — то не выйдем мы на просторы культуры, в ее мировой универсальности, не утвердим нам дорогого как ценность общечеловеческую, как искорку и блестку Истины вечной. В чем же смысл «Капитанской дочки»?

Нам откроется этот смысл через обсуждение главной драматической линии повести: взаимоотношений Петра Андреевича Гринева и Емельяна Пугачева. История этих взаимоотношений насчитывает четыре встречи. Первая — в степи, в буран, когда Пугачев вывел заблудившегося ям-



щика Гринева к умету — постоялому двору (и, конечно, разговоры на постоялом дворе). Вторая встреча — в Белогорской крепости, которую только что заняли повстанцы, и Гринев, узанный Пугачевым, был пощажён и отпущен. Третья — в Бердской слободе, где Гринев просит Пугачева освободить его невесту Марью Ивановну Мионову (а также разговор с Пугачевым по дороге в Белогорскую крепость). И, наконец, последняя, четвертая встреча — короткий обмен взглядами между Гриневым, стоящим в толпе, и Пугачевым, всходящим на эшафот, за минуту до того, как голова последнего была отсечена палачом... Четыре встречи, основная сюжетная линия повести.

Герои наши ведут на протяжении всей повести диалог особого рода. Одни и те же слова, понятия меняют свой смысл в зависимости от того мировоззренческого горизонта, в котором их высказывают. Таких мировоззренческих горизонтов, таких особых ценностно упорядоченных уровней существования, к которым апеллирует слово наших героев, мы выделяем в повести три. *Первый* уровень есть уровень *фактического существования*. Существование на этом уровне исчерпывается своей фактической данностью. На этом уровне человек существует как естественное природное психофизиологическое существо, а в качестве исторического субъекта — как носитель определенных функций — семейных, классовых, национальных и т.д. Вопрос о смысле, о законности, об оправданности, «освященности» этих функций не обсуждается на этом уровне. Существование на этом уровне есть как бы чистое *de facto*, не ищущее никакого *de jure*. И, следовательно, право на этом уровне есть право факта — «у кого сила, у того и право». Это есть (например) уровень, на котором Пугачев играет роль царя.

Второй уровень есть как бы определенное «очеловечивание» первого: человеческое существование на втором уровне выражается формулой: *фактическое существование плюс свобода*. Причем из всех многообразных определений свободы для нас здесь существенное — это ничем не ограниченная человеческая свобода принять или отвергнуть любое фактическое существование. По сути, речь идет о свободе произвола. С этой точки зрения любая человеческая функция на первом уровне существования, любая данность становится условной. Она может быть оспорена, уничтожена, отменена (как и сотворена, вновь принята на себя). Социальная данность в принципе становится «рукотворной», становится ролью, свободно принимаемой и отвергаемой.

На *третьем* уровне человек в своем опыте произвола, в недрах собственной свободы открывает опять некоторую данность, некоторую фактич-



Худ. А. Пластов

ность, парадоксальность которой состоит в том, что эта фактичность оказывается *данностью внутри свободы*, которая, по определению, есть преодоление всякой данности. Существование человека на третьем уровне есть существование свободы в мире нравственных ценностей — своеобразных духовных реалий, в мире которых свободный человек утверждает себя как свободная нравственная личность. Мир нравственных ценностей есть иерархически упорядоченный мир, на вершине которого располагается Сверхценность (и Сверхреальность) — Бог. Если общение двух на втором уровне есть общение равных в бесконечности своего произвола человеческих свобод, как бы двух равных богов, то общение на третьем уровне есть общение двух личностей в горизонте отчасти знаемой, отчасти предвосхищаемой Истины, общение «перед лицом Бога».

§2. СВЕТ ВО ТЬМЕ

С этим важным для нас методологическим инструментарием — различением трех уровней общения — приступим теперь к анализу четырех встреч Пугачева и Гринева. Нам будет удобнее начать со второй, со встречи в Белогорской крепости. Вспомним в общих чертах ситуацию. Пугачев занял со своими повстанцами Белогорскую крепость, где служил Гринев. Комендант крепости, его жена и не признавшие Пугачева царем офице-



ры были повешены или убиты на глазах Гринева. Последний чудом спасся: Пугачев узнал в Гринева офицера, который подарил ему однажды тулуп со своего плеча в благодарность за помощь во время бурана в степи. Вечером Гринева приводят в избу, где Пугачев пирует со своими сообщниками. После долгого застолья и «под занавес» зловещей песни про виселицу все наконец расходится. Гринева с Пугачевым остаются с глазу на глаз. Приведем это место дословно. «Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такую непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный). Ты крепко передо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели: и то, на что был я готов под виселицу в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебал-

ся. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могли ли я признать в тебе государя? Ты человек смывленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в том обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал он, ударяя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Попытаемся отдать себе отчет в том, что происходит в этом разговоре. Пугачев сразу предлагает общение на уровне фактического существования, на том уровне, на котором он выдает себя за царя: «Не думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?» Пугачев говорит от имени факта: меня почитают истинным государем! «Обещаешься ли служить мне с усердием?» Гринева же отказывается уравнивать голый факт силы с правом. «...Признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным... Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческою». Именно *честь*, чувство потом-



Суд Пугачева. Худож. В. Перов. 1879



ственного дворянина, ощущающего себя наследником родовых традиций, верности, служения престолу и отечеству, связанного присягой и привычкой и не мыслящего себя вне этих социальных детерминаций, помогает Гриневу восторжествовать над «слабостью человеческою». Уступить силе, признать бродягу государем значило бы не просто испугаться, значило бы разрушить целый социальный космос и тем самым утратить смысл исторического существования... **Трубным призывным гласом звучит здесь у Пушкина тема чести, обозначенная и эпиграфом ко всей повести — «Береги честь смолоду».** Мы вернемся еще к этому в дальнейшем.

Однако как объяснить это Пугачеву? Прямая ссылка на честь, на присягу только бы разъярила атамана — разве не оспаривал он своим бунтом всего устоявшегося социального порядка со всеми его условностями? Старая присяга — ложная присяга, нужно принести новую! И Пугачев ставит вопрос ребром: «Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо». Гринева в сложном положении, и выход из него он находит очень нетривиальный: «Слушай: скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный; ты сам увидел бы, что я лукавствую». *Отвечать прямо* невозможно. Ибо уже с самого начала разговора «в воздухе повис» вопрос о праве, о ценностях и о чем-то еще очень глубоко и решающем, о чем, однако, вот так сразу, с первых слов говорить невозможно. Невозможно именно потому, что **общение на этом более глубоком уровне требует определенной открытости человека, требует такой духовной установки, которая необходимым своим условием имеет максимум: реальность не исчерпывается фактическим положением вещей... И эту установку человек может выбрать только свободно** (или не выбрать, опять же свободно). Необходимо, чтобы разговор разворачивался в *горизонте свободы*, а Гринева еще не знает «предлагаемых обстоятельств», не знает, до какой степени свобода «разрешена» Пугачевым. Пугачев помиловал Гринева — это акт свободы, конечно, но где ее границы? Но надежда только на нее, на свободу, только она способна преодолеть тупик (для Гринева) фактической ситуации и обещать что-то утешительное в будущем. **Именно к свободе Пугачева и обращается Гринева.** Вся эта доверительность тона, призыв к искренности, к универсальности, интерсубъективности, разумности — «ты человек смысленный: ты сам увидел бы...» — все это как бы одно целое: Пугачев, будь человеком... Человеком в том смысле, как диктует это второй и третий уровень существования в нашей схеме: есть свобода и, следовательно, мир

не исчерпывается только видимым и осязаемым, только фактическим господством и подчинением... Особенно эти слова: «Рассуди, могу ли я признать в тебе государя?» Ведь это приглашение: Пугачев, встань на мое место, как бы ты поступил? — Какая дерзость по отношению к государю!.. Какая смелость со стороны пленника! Что дает Гринева право на это? Что ведет его? А то, что пережито было уже Гриневым, когда, готовый к смерти на виселице, был он неожиданно помилован. Цепь неумолимо связанных событий неожиданно разорвалась, и действительность обнаружилась вдруг свои — новые, таинственные измерения и, значит, новые возможности жить и надеяться... **Именно к этим новым возможностям и апеллирует Гринева, угадывая уже, что они дороги и Пугачеву.**

И Пугачев отвечает на «приглашение» Гринева. «Ну, добро, — говорит он, — а разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?.. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князя. Как ты думаешь?» Хорошо, говорит Пугачев, ты не веришь, что я истинный государь. Но разве нет удачи удалому? Разве не имеет человек права захотеть и стать государем? Разве не верно — кто смел, тот и съел? Ведь это не я, Пугачев, придумал, это уже было в истории до меня... Гринева предлагает общаться на уровне свободы — и Пугачев соглашается. Но свобода свободе рознь. Есть свобода произвола, свобода Гришки Отрепьева (наш второй уровень диалога). Вот к согласию на этом уровне и приглашает Пугачев Гринева. Гринева опять в очень сложном положении. Он, конечно, не признает легальности самого уровня существования, который предлагает ему Пугачев. Но спорить об этом значило бы спорить о ценностях, об истине, о мировоззрении, а это предполагает еще большую степень открытости человека, гарантии которой у Гринева нет. Опять — до каких границ «разрешает» свободу Пугачев — еще не ясно. И Гринева делает шаг неожиданный и очень смелый. «Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу». То самое чувство чести, которое удержало Гринева от малодушного поступка, не позволило ему признать царя в самозванце, но которое было *скрытой* пружиной его действий, здесь явлено открыто. Гринева как бы возвращается на первый уровень существования (и диалога). Он сам хотел углубления диалога, Пугачев принял это и заговорил именно «от Свободы», однако продолжать эту тему было бы опасно, чувствует Гринева. Объяснять Пугачеву, что свобода Гришки Отрепьева есть свобода незаконная — не значило бы это



метать бисер перед свиньями? Ведь от имени этой свободы беззакония и говорит Пугачев. Что же делать?.. И Гринева отступает. Точнее, стоит — с твердостью (см. текст) — на том, что является исходным рубежом ситуации: «Я природный дворянин». Другими словами: я дворянин, а ты — бунтарь, и я тебе служить не могу. Мы — по разные стороны баррикады. Семь бед — один ответ: все как бы возвращается к тому моменту, когда помилowanego Гринева подтащили к Пугачеву для лобызания руки. И Гринева, как и тогда, отказался. Все возвратилось... Кроме одного: в этом свершившемся круге событий уже обретен некоторый **положительный опыт общения в свободе**: уже не раз показал Пугачев свое благорасположение Гринева, и именно на него делает ставку Гринева и в этом повороте диалога. Именно это позволяет ему сказать: «Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург». И еще одно. Есть в этом возврате к уровню фактического существования и некоторый намек. Заново противопоставляя фактичность существования безграничному произволу беззаконной свободы, Гринева как бы говорит: и сама фактичность отнюдь не так условна, как этого тебе хотелось бы, Пугачев, не есть только роль: фактичность социального института может быть освящена и достойна защиты даже ценою жизни. Да и свобода тоже, как ни кажется безграничным ее произвол, также самоопределяется в виде некоторых устойчивых реалий: присяга, честь, верность, вера... Впрочем, здесь это только намек, который будет развернут позже. С удивительным тактом гениального художника Пушкин начинает новый абзац: «Пугачев задумался». И оттуда, из глубин душевной жизни, «из-за дум», из глубин предчувствий приходит к Пугачеву решение и новый вопрос: «А коли отпущу, так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?» **Пугачев соглашается: хорошо, у нас есть особый модус наших отношений, ты просишь меня отпустить — я отпущу. Но не «отпустишь» ли и ты меня, Гринева, не прекратишь ли и ты действовать мне во зло? Теперь как бы Пугачев взывает к Гринева, — Гринева, будь человеком и ты... Но Гринева связан законом чести. Он не может изменить своей воинской присяге.** Но любопытно, как неожиданно меняется для Гринева, скажем, не статус его службы, но его психологическое отношение к долгу службы. Если в предыдущем ответе Гринева присяга — это нечто святое и безусловное, подчеркнутое лаконичной торжественностью тона: «Я присягал государыне императрице: тебе служить не могу», — то в новых словах Гринева как бы подменили. «Как могу тебе в этом обещаться? Сам знаешь, не

моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего». Так и слышится; пойду — а не хотел бы! Не моя воля — а по своей бы и не пошел! Если велят — делать нечего, — хотя и хотел бы! Только что перед нами был убежденный защитник государства и престола, сама верность и честь, и вот, вдруг — *невольник чести!* Нет, Гринева не отказывается от чести и присяги. Но только... но только отвечать от имени чести тому, от имени чего говорит Пугачев, было бы бестактно, неблагодарно (и нелогично)... Поэтому так деформируется отношение Гринева к чести. Там, в первом ответе, это честь перед лицом беззакония самозванцев и воров. Там — от нее сверху вниз взгляд на дерзость и безумие своеволия. Здесь — от нее снизу вверх взгляд к чему-то высшему, к евангельскому «Не клянитесь», может быть... Нет, Гринева не хочет упразднить закон чести, конечно. Но сколь любопытны его неуклюжие попытки как бы оправдать честь на уровне «добрых отношений»: «Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится?..»

Разговор парадоксальным образом — через возврат на первый уровень — переходит на третий. Здесь, на этом уровне существования, созревает решение Пугачева отпустить Гринева. С точки зрения именно этого уровня честь Гринева со всей ее бескомпромиссностью и прямоотой оказывается вдруг, для него самого, слишком прямолинейной, со всей ее смелостью слишком эгоцентричной... Станным образом, чувствует Гринева, в выборе своей позиции должен он учитывать как бы не только свои интересы, но и в каком-то странном смысле — интересы Пугачева... Как и Пугачев, который, оказывается, вдруг должен почему-то беспокоиться о чести Гринева... Заговорило что-то третье, перед чем и Пугачев, и Гринева равны... И Гринева находится сказать именно перед лицом этого третьего: «Голова моя в твоей власти; отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а я сказал тебе правду». *Спаси-бо* значит: спаси Бог. Отпустишь или казнишь, говорит Гринева, все перед лицом Бога и Бог тебе судья. Перед лицом Бога почувствовал ты, Пугачев, необходимость — и благость — за добро ответить добром. Пред очами Божьими стоим мы и сейчас. .. Гринева не хочет — и боится — спора с Пугачевым. **Но он опирается на то, что бесспорно для обоих. Есть Бог и есть Истина. Хотя Пугачев и действует по видимости так, что произвол своеволия ничем не ограничен, однако — и это существеннейшая черта пушкинского Пугачева, — тем не менее, он оказывается нравственно вменяем. За добро должно от-**



ветить добром: Пугачев решается отпустить Гринева.

Дальше у Пушкина идут замечательные строки: «Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк». Только что произошло нечто значительное. Вдруг после сражения, ужасных убийств и выматывающей души тревоги установилась тишина. Кончилась ли война? Спасены ли близкие? — Нет, бунт еще только в самом разгаре. Но посреди этого бунта вдруг найдено нечто, что умиряет страсти, утешает душу, обещает спасение самое полное... Этот мир, тишина, надежда пришли не извне, не с наступлением усыпляющей ночи, а изнутри — из глубины души человеческой, которая вдруг открывает бесконечные горизонты веры и надежды. Эта тишина морозной ночи есть тишина души, коснувшейся вечности и осознавшей, что она в мире не одна, что совесть ее доносит ей весточку из мира горнего. И эти яркие зимние звезды над головой — тоже только символы, только отражения нравственных ориентиров, сокрытых в душе человеческой, сущих всегда и везде, как бы ни закрывали их плотные облака людских страстей.... Это опять наш третий уровень существования, и, может быть, самый адекватный этому уровню модус общения есть диалог через тишину, диалог-молчание... С него, впрочем, и начался разговор Пугачева с Гриневым: «Мы остались с глазу на глаз. Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такую непритворной веселостью, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему». Что-то происходит между Пугачевым и Гриневым в молчании... И более того: в любом разговоре, даже самом напряженном и обостренном, *музыка* этого молчания, однажды начавшись, не смолкает уже никогда. Она оказывается лоном, вместилищем любого общения. И в этом молчаливом диалоге странным образом все уже как бы разрешено, примирено, спасено... Детской *непритворной веселостью* прорывается стихия этого молчаливого общения в погруженный в заботу и страдание мир обыденной реальности. Человек, обретший эту опору, это убежище, эту примиренность в кровавой драме исторической действительности, воистину чувствует себя, по слову Савельича, — с радостью встречающего освобожденного Гринева, — «как у Христа за пазушкой».

Три уровня существования, три соответствующих им уровня диалога. Если угодно, можно

видеть в этом отражение классического для христианской культуры разделения на тело, душу и дух... Причем жизненная драма происходит сразу на всех трех уровнях, они разом вовлечены в игру, взаимно ограничивая и определяя друг друга. Нельзя сказать, что Истина только там, на третьем уровне, так как Истина есть одновременно и путь к ней, то есть путь на первом и втором уровнях существования — уровне фактической данности вещей и отношений обыденного мира и уровне их переоценки человеческой свободой. Истина выступает здесь как свет, как *светоч* — ведущий человека и освящающий его, как свет, который «и во тьме светит».

Эту рассеянность света высших сфер бытия по пространству жизни по-своему выражает и образ Савельича, слуги Гринева. Пара Гринев—Савельич есть чистый пушкинский парафраз сервантесовских Дон Кихота и Санчо Пансы. Для доказательства достаточно привести лишь одно место из повести. Вот Гринев с Савельичем отправляются из Оренбурга на спасение Марьи Ивановны: «Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее...». Высокие и благородные побуждения, действия Гринева Савельич занижает и отражает в пародийном ключе. Вот утро в Белогорской крепости после занятия ее повстанцами Пугачева. Те странные и глубокие отношения, которые завязались между Гриневым и Пугачевым и следствием которых было уже чудесное избавление Гринева от виселицы, не достаточны для Савельича сами по себе. Для их реальности Савельичу нужно их более материальное подтверждение. Истина для его трезвого хозяйственного ума простолюдина неотделима от справедливости, а последняя от *права собственности*. Как говорится, «дружба дружбой, а денежки врозь», и парадокс в том, что реальность первого, в некотором смысле, в гарантии второго. И Савельич выступает перед Пугачевым с реестром похищенных у них вещей. Чем чуть и не погубил и себя, и своего хозяина. Однако Пугачев все-таки прислал Гриневу в дорогу лошадь, овчинный тулуп и полтину денег. «Вот видишь ли, сударь, — резонирует Савельич, — что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно». И он, конечно, прав, беззаветно преданный и верный своему барину Архип Савельевич. Только одно неверно: не вмещается в слова и подарки та глубина взаимоотношений, которая вдруг открылась Гриневу и Пугачеву. Слова, рассудочность, трезвость — это одно, а тут глубже — совесть, лицо, молчание...

Продолжение следует.